

В. Бережков

Как я стал переводчиком Сталина

Я впервые увидел Сталина в конце сентября 1941 года на позднем обеде в Кремле, устроенном в честь миссии Бивербрука — Гарримана. Гости собрались в помещении, примыкавшем к Екатерининскому залу, незадолго до 8 вечера. Все ждали появления Сталина. Наконец отворилась высокая дверь, но это был не он, а два офицера из его охраны.

Прошло еще минут десять. Видимо, в этом был определенный смысл: свое появление «хозяин» преднамеренно затягивал, чтобы подогреть нетерпение публики.

Дверь снова открылась, и вошел Сталин. Взглянув на него, я испытал нечто близкое к шоку. Он был совершенно не похож на того Сталина, образ которого сложился в моем сознании. Ниже среднего роста, исхудавший, с землистым усталым лицом, изрытым оспой. Китель военного покроя висел на его сухощавой фигуре. Одна рука короче другой — почти вся кисть скрывалась в рукаве. Неужели это он?

С детства нас приучили видеть в нем великого и мудрого вождя, все предвидящего и знающего наперед. На портретах и в бронзовых изваяниях, на транспарантах праздничных демонстраций мы привыкли видеть его возвышающимся над всеми. Воображение дорисовывало физическую внушительность. А он, оказывается, невзрачный, даже незаметный. В то же время все присутствовавшие при его появлении как-то притихли. Медленно ступая по ковровой дорожке, поздоровался с каждым из гостей. Не обошел и меня. Рука его была совсем маленькая, пожатие вялое...

То были самые тяжелые дни войны. Гитлеровские войска, далеко продвинувшись в глубь советской территории, стремительно приближались к Москве. Нашим войскам зачастую не хватало даже винтовок. Я был свидетелем разговора Молотова с командиром одного из соединений, оборонявших столицу. Тот с надрывом жаловался, что у него на пять ополченцев только одна винтовка и слезно умолял помочь. Но Молотов, знавший положение дел, жестко ответил:

— Винтовок нет, пусть сражаются бутылками...

Тогда-то и появился пресловутый «молотовский коктейль» — бутылки с горючей смесью. Боец народного ополчения, спрятавшись в окопчик, поджидал танк, и когда тот проходил над его головой, поднимался и бросал бутылку. При метком попадании машина воспламенялась, но ей с лихвой хватало времени, чтобы расстрелять смельчака или проутюжить окопчик. Так под Москвой гибли десятки тысяч ополченцев. Среди них немало и моих друзей.

Страшные неудачи, потери обширных территорий при всем пренебрежении Сталина к человеческой жизни не могли не наложить отпечатка на его облик. Но особенно угнетал его просчет, допущенный в оценке предвоенной ситуации. Он игнорировал все предупреждения и предостережения, уверовав, что Гитлер не начнет войну в середине лета. Прозорливого отца народов, как мальчишку, обвел вокруг пальца австрийский ефрейтор! Болезненно переживая унижение и пережитый страх, Сталин стал еще более подозрительным, чем прежде. Даже внутри здания Совнаркома его сопровождали два охранника. С таким эскортом Сталин приходил и к Молотову.

Нередко на пути из секретариата наркома в свою комнату я видел, как из-за коридорного поворота появлялась знакомая фигура охранника. И каждый раз это приводило в смятение. Нет, то не был страх. Я был убежден, что мне ничем не грозит такая встреча. Но тем не менее возникало непреодолимое желание спрятаться. Через несколько секунд должен появиться Сталин. Лихорадочно включалась мысль: вернуться обратно в секретариат или быстро добежать до своей комнаты? Можно спрятаться за одной из гардин, прикрывающих высокие окна — а если Сталин заметит, примет меня за злоумышленника или подумает, что у меня совесть нечиста? Ведь даже когда собеседник не смотрел ему в глаза, он готов был заподозрить крамолу.

— Почему у вас глаза бегают? — Этот его вопрос мог решить судьбу бедняги.

Перебрав все варианты и понимая, что времени не остается, прижимался спиной к стене и ждал. Процессия медленно проходила мимо. Я бодро произносил:

— Здравствуйте, товарищ Сталин!

Он молча, легким движением руки отвечал на мое приветствие и следовал дальше. Я с облегчением вздыхал... До сих пор не могу объяснить, отчего при каждой подобной ситуации меня охватывало оцепенение.

Нервозность возникала и тогда, когда главный помощник вождя Поскребышев или кто-то из его заместителей предупреждал, что предстоит беседа с американцами и мне ее переводить. Но тут я находил объяснение — восхождение на Олимп требовало нервной концентрации, хотелось выполнить поручение как можно лучше, чтобы Он остался доволен.

В служебных апартаментах Сталина царил деловая спокойная атмосфера. В небольшой комнате, рядом с секретариатом, куда я поначалу заходил в ожидании сигнала, что гости миновали Спасские ворота, на раскрашенных яркими цветами черных подносах стояли стаканы и бутылки с боржомом, а у стены — ряд простых стульев. Некоторые авторы сейчас утверждают, что всех посетителей, даже Молотова, перед кабинетом вождя обыскивали, что под креслами находились электронные приборы для проверки на металл. Ничего подобного не было. Во-первых, тогда еще не существовало электронных систем, а во-вторых, за все почти четыре года, что я приходил к Сталину, меня ни разу не обыскивали и вообще не подвергали каким-либо специальным проверкам. Между тем в наиболее тревожные последние месяцы 1941 года, когда опасались заброшенных в столицу немецких агентов, каждому из нас выдали пистолет. У меня, например, был маленький «вальтер», который легко можно было спрятать в кармане. Когда около шести утра заканчивалась работа, я, взяв из сейфа «вальтер», отправлялся в здание Наркоминдела на Кузнецком, где в подвале можно было немного отдохнуть, не реагируя на частые воздушные тревоги. В осенние и зимние месяцы светало поздно, и улицы были погружены во мрак. Правда, часто попадался комендантский патруль, проверял документы. Но ведь мог встретиться и немецкий диверсант. Вот на сей случай и полагалось оружие. По приходе в Кремль на работу следовало спрятать пистолет в сейф. Но никто не проверял, сделал ли я это и не взял ли оружие, отправляясь к Сталину.

Мои возможности наблюдать Сталина были ограничены специфическими функциями переводчика. Я видел его в обществе иностранных посетителей, где он играл роль гостеприимного хозяина. Когда дежурный офицер сообщал, что гости миновали Спасские ворота и до их появления оставались считанные минуты, я направлялся в кабинет Сталина, минуя секретариат, комнату, где сидел Поскребышев и помещение охраны. Тут всегда находилось несколько человек в форме и в штатском, у самой двери в кабинет в кресле обычно дремал главный телохранитель вождя генерал Власик. Он использовал каждую тихую минутку, чтобы вздремнуть, так как должен был круглые сутки находиться при «хозяине». Входил я в кабинет без предупреждения и всегда кого-то там застал: членов Политбюро, высших военачальников или наркомов. Они сидели за длинным столом с блокнотами, а Сталин прохаживался по ковровой дорожке. При этом он либо выслушивал кого-то из присутствовавших, либо высказывал свои соображения. Мое появление служило своеобразным сигналом к тому, что пора заканчивать совещание. Сталин, взглянув на меня, обычно говорил:

— Американцы сейчас явятся. Давайте прервемся...

Все быстро, собрав свои бумаги, вставали из-за стола и покидали кабинет. Оставался Молотов. Он присутствовал при всех беседах Сталина с иностранцами, хотя в них практически не участвовал, а больше молчал. Иногда сам Сталин обращался к нему по какому-либо конкретному вопросу, называя его имя — Вячеслав. Молотов же в присутствии посторонних строго придерживался официального «товарищ Сталин».

Надо признать, что при всех своих отвратительных качествах Сталин обладал

способностью очаровывать собеседников. Он, несомненно, был большой актер и мог создать образ обаятельного, скромного, даже простецкого человека. В первые недели войны, когда казалось, что Советский Союз вот-вот рухнет, все высокопоставленные иностранные посетители, начиная с Гарри Гопкинса, были настроены весьма пессимистически. А уезжали из Москвы в полной уверенности, что Россия будет сражаться и в конечном итоге победит. А ведь положение у нас было действительно катастрофическое. Враг неотвратно двигался на восток. Чуть ли не каждую ночь приходилось прятаться в бомбоубежищах. Что же побуждало Гопкинса, Гарримана, Бивербрука и других опытных и скептически настроенных политиканов менять свою точку зрения? Только беседы со Сталиным. Несмотря на казавшуюся безнадежной ситуацию, он умел создать атмосферу непринужденности, спокойствия. В кабинет, где царил тишина, едва доносился перезвон кремлевских курантов. Сам «хозяин» излучал благожелательность, неторопливую обстоятельность, уверенность. Казалось, ничего драматического не происходит за стенами этой комнаты, ничто его не тревожит. У него масса времени, он готов вести беседу хоть всю ночь. И это подкупало. Его собеседники не подозревали, что уже принимаются меры к эвакуации Москвы, минируются мосты и правительственные здания, что создан подпольный обком столицы, а его будущим работникам выданы паспорта на вымышленные имена, что казавшийся им таким беззаботным хозяин кремлевского кабинета прикидывает различные варианты на случай спешного выезда правительства в надежное место. После войны он в минуту откровения сам признался, что положение было отчаянным. Но сейчас умело скрывает это за любезной улыбкой и внешней невозмутимостью. Говоря о нуждах Красной Армии и промышленности, Сталин называет не только конкретную военную продукцию, оружие, но и запрашивает оборудование для предприятий, целые заводы. Поначалу собеседники недоумевают: их военные эксперты утверждают, что советское сопротивление рухнет в ближайшие четыре-пять недель. О каком же строительстве новых заводов может идти речь? Даже оружие посылать русским рискованно — как бы оно не попало в руки немцев. Но если Сталин просит заводы, значит, он что-то знает, о чем не ведают ни эксперты, ни сами политики. И как понимать олимпийское спокойствие Сталина и его заявление Гопкинсу, что если американцы пришлют алюминий, СССР будет воевать хоть четыре года? Несомненно, Сталину виднее, как обстоят тут дела! И вот Гопкинс, Бивербрук, Гарриман заверяют Рузвельта и Черчилля, что Советский Союз выстоит и что есть смысл приступить к организации военных поставок стойкому союзнику. Сталин блефовал, но, по счастью, оказался прав. Так же как и тогда, когда после посещения британским министром иностранных дел Энтони Иденом подмосковного фронта во второй половине декабря 1941 года, заявил:

— Русские были два раза в Берлине, будут в третий раз...

Неисправимые сталинисты могут расценить такое пророчество как свидетельство прозорливости вождя. Но мне представляется, что он и тут играл роль оптимиста. В узком кругу он не раз в те дни признавался, что «потеряно все, что было завоевано Лениным», что не избежать катастрофы. Наигранной бодростью он прикрывал свое неверие в народ, презрительно обзывая аплодировавшую ему толпу «дураками» и «болванами». Но именно этот нелюбимый и пугавший его народ, жертвуя десятками миллионов жизней своих сынов и дочерей, сделал его пророчества явью.

Лично ко мне Сталин всегда относился индифферентно. Порой мне казалось, что он смотрит словно сквозь меня, даже не замечает моего присутствия, как, скажем, находящейся в кабинете мебели. Но он, как вскоре выяснилось, в каждом случае сам выбирал из нас двоих себе переводчика. Иной раз, когда предстояла беседа с американцами, вызывали Павлова, а к англичанам меня, хотя США были в моей компетенции, а Великобритания — Павлова. Бывало и так, что в течение нескольких недель приглашали только одного из нас, независимо от того, с кем происходила беседа. Каждому из нас в таких случаях было не по себе, каждый нервничал и терялся в догадках:

чем не угодил «хозяину», что вызвало его неудовольствие. Но потом все снова входило в норму, никаких замечаний нам не делали, а мы, разумеется, не осмеливались выяснять. Может быть, это была маленькая игра, чтобы держать нас в напряжении и в состоянии «здоровой конкуренции».

У него был своеобразный юмор. Рассказывали, что однажды начальник Политуправления Красной Армии Мехлис пожаловался Верховному Главнокомандующему, что один из маршалов каждую неделю меняет фронтową жену. А затем спросил: что будем делать? Сталин с суровым видом долго молчал. Ответил неожиданно, с лукавой усмешкой:

— Завидовать будем...

В ином случае Сталин на протяжении нескольких военных лет время от времени донимал другого маршала вопросом: почему его не арестовали в 1937 году? Не успевал тот раскрыть рот, как Сталин строго приказывал: «Можете идти!» И так повторялось до конца войны. Жена маршала после каждого подобного случая готовила ему узелок с теплыми вещами и сухарями, ожидая, что ее супруг вот-вот угодит в Сибирь. Настал день Победы. Сталин, окруженный военачальниками, произносит речь:

— Были у нас и тяжелые времена, и радостные победы, но мы всегда умели пошутить. Не правда ли, маршал... — И он обращается к злополучному объекту своих «шутки».

У меня порой возникали сложности с составлением телеграмм нашим послам в Лондоне и Вашингтоне. Их проекты следовало приготовить сразу же после беседы, пока Сталин еще оставался у себя.

По своей подпольной привычке Сталин работал всю ночь, и прием дипломатов обычно проводился поздно, а то и на рассвете. Беседа иногда продолжалась два-три часа, но телеграмма должна была занимать не более двух страниц. Продиктовав, я снова отправлялся в кабинет Сталина. Он просматривал текст, делал те или иные поправки и подписывал. Но бывало и так, что его не устраивал мой вариант. Это его раздражало. Правда, груб он не был, просто укорял:

— Вы тут сидели, переводили, все слышали, а ничего не поняли. Разве это важно, что вы тут написали? Главное в другом...

Понимая, что я старался, но не сумел, а значит, давать указание «переделать» бессмысленно, говорил:

— Берите блокнот и записывайте...

И диктовал по пунктам. После этого не стоило особого труда составить новую телеграмму. Все же всякий раз, когда случалось такое, долго оставался неприятный осадок.

СТАЛИН И РУЗВЕЛЬТ

Среди зарубежных государственных деятелей, которых мне довелось близко наблюдать, наибольшее впечатление оставил Франклин Делано Рузвельт. У нас в стране он заслуженно пользуется репутацией реалистически мыслящего, дальновидного политика. Его именем назван один из главных проспектов Ялты. Президент Рузвельт занял выдающееся место в современной истории Соединенных Штатов и в летописи Второй мировой войны. Мне он запомнился как обаятельный человек, обладающий быстрой реакцией, чувством юмора. Даже в Ялте, когда было особенно заметно ухудшение его здоровья, все присутствовавшие отмечали, что интеллект президента оставался ярким, острым и способным на быструю реакцию.

Я считаю для себя большой честью поручение переводить беседы Сталина с Рузвельтом во время их первой встречи в Тегеране в 1943 году. Все, что тогда произошло, глубоко запало мне в память.

Советская делегация, в которую входили Сталин, Молотов и Ворошилов, отбыла в иранскую столицу за день до моего возвращения в Москву из Киева, где я тщетно пытался

разыскать родителей. Мне пришлось ее догонять. Вылетел поздно ночью в Баку и прибыл туда только к вечеру. Рано утром отправился самолетом в Тегеран. Едва добравшись в середине дня до советского посольства, узнал, что мне предстоит переводить первую беседу двух лидеров. Прилети самолет хотя бы на час позже, я опоздал бы на эту встречу, не говоря уже о том, что вызвал бы неудовольствие Сталина, который сам выбирал себе переводчика для каждой беседы.

Когда я вошел в комнату, примыкавшую к залу пленарных заседаний, там уже находился Сталин в маршальской форме. Он пристально посмотрел на меня, и я поспешил извиниться за небольшое опоздание, пояснив, что явился прямо с аэродрома. Сталин слегка кивнул, медленно прошелся по комнате, достал из бокового кармана кителя коробку с надписью «Герцеговина флор», закурил. Прищурившись, взглянул менее строго, спросил:

— Не очень устали с дороги? Готовы переводить?

— Готов, товарищ Сталин. За ночь в Баку хорошо отдохнул. Чувствую себя нормально.

Сталин, медленным жестом загасив спичку, указал ею на диван:

— Здесь, с краю, сяду я. Рузвельта привезут в коляске, он расположится слева от кресла, где будете сидеть вы.

— Ясно.

Мне уже не раз приходилось переводить Сталина, но я ни разу не видел, чтобы он придавал значение таким деталям. Возможно, нервничал перед встречей с Рузвельтом.

Сталин, конечно, не сомневался, что отношение президента к системе, установленной в Советском Союзе, отрицательное. Для Рузвельта не могли быть тайной кровавые преступления, произвол, репрессии и аресты в сталинской империи — уничтожение крестьянских хозяйств, насильственная коллективизация, приведшая к страшному голоду и гибели миллионов, гонения на высококвалифицированных специалистов, ученых, писателей, объявленных «вредителями», истребление талантливых военачальников. Страшные последствия сталинской политики породили на Западе крайне отрицательный образ Советского Союза. Как сложатся отношения с Рузвельтом? Не возникнет ли между ними глухая стена? Смогут ли они преодолеть отчуждение? Эти вопросы не мог не задавать себе Сталин.

Думаю, что и президент понимал, сколь важно в создавшейся тогда ситуации найти общий язык с кремлевским диктатором. И он сумел так подойти к Сталину, что этот подозрительный восточный деспот, кажется, поверил в готовность демократического сообщества принять его в свою среду. На первой же встрече с советским лидером Рузвельт попытался создать атмосферу доверительности. Не было никакой натянутости, настороженности, никаких неловких длительных пауз.

Сталин также пустил в ход все свое обаяние — тут он был большой мастер. До войны наш вождь редко принимал зарубежных политиков и потому не мог иметь соответствующего опыта. Но он быстро наверстал упущенное, показав свои способности уже при встрече с Риббентропом в августе 1939 года. После гитлеровского вторжения Сталин непосредственно участвовал в переговорах. Беседы с Гопкинсом, Гарриманом, Хэллом, интенсивная переписка с Рузвельтом дали возможность пополнить представления об американцах, отработать особую манеру ведения дел с ними. И все же можно было заметить, что на первой встрече с президентом Соединенных Штатов, осенью 1943 года, Сталин чувствовал себя не вполне уверенно.

Не потому ли на этот раз заботился о том, где лучше сесть? Он, видимо, не хотел, чтобы слишком высветилось его испещренное оспой лицо. Маршальский китель и брюки с красными лампасами были тщательно выглажены, мягкие кавказские сапоги — он обычно заправлял в них брюки — сверкали. Вставленные в стельку под пяткой прокладки делали его выше, чем он был на самом деле.

Разговор с Рузвельтом он начал с типичных грузинских любезностей. Все ли

устраивает президента в его резиденции? Не упустили ли чего-либо? Чем он мог бы быть полезен и так далее. Рузвельт поддержал тон, предложил Сталину сигарету. Тот ответил, что привык к своим. Спросил президент и о знаменитой сталинской трубке.

— Запрещают врачи, — развел руками всесильный вождь.

— Врачей надо слушаться, — назидательно произнес Рузвельт.

Осведомились о самочувствии друг друга, поговорили о вреде курения, о полезности пребывания на свежем воздухе. Словом, все выглядело так, будто встретились закадычные друзья.

Рассказывая по просьбе президента о положении на фронте, Сталин не скрыл тяжелой обстановки, сложившейся на Украине после захвата немцами Житомира, важного железнодорожного узла, в результате чего снова под угрозой оказалась украинская столица — Киев. В свою очередь и Рузвельт демонстрировал откровенность. Обрисовав жестокие бои на Тихом океане, он затронул вопрос о судьбе колониальных империй.

— Я говорю об этом в отсутствие нашего боевого друга Черчилля, — подчеркнул президент, — поскольку он не любит касаться данной темы. Соединенные Штаты и Советский Союз не являются колониальными державами, нам легче обсуждать такие проблемы. Думаю, что колониальные империи недолго просуществуют после окончания войны...

Рузвельт сказал, что намерен в будущем подробнее побеседовать о послевоенном статусе колоний, но лучше это делать без участия Черчилля, у которого нет никаких планов в отношении Индии.

Сталин явно остерегался быть втянутым в обсуждение столь деликатной темы. Он лишь ограничился замечанием, что после войны проблема колониальных империй может оказаться актуальной, и согласился, что СССР и США проще обсуждать этот вопрос, чем странам, владеющим колониями. Меня же поразила инициатива Рузвельта в связи с тем, что не так давно я слышал, как Гитлер на переговорах с Молотовым в Берлине в ноябре 1940 года предлагал Советскому Союзу совместно с Германией, Италией и Японией поделить британское колониальное наследство. Видно, эти территории привлекали многих...

В целом у меня сложилось впечатление, что Сталин и Рузвельт остались довольны первым контактом. Но это, конечно, не могло изменить их принципиальных установок.

* * *

Администрация Рузвельта руководствовалась формулой, изложенной в заявлении Государственного департамента США от 22 июня 1941 года, то есть в день нападения гитлеровской Германии на СССР: «Мы должны последовательно придерживаться линии, согласно которой тот факт, что Советский Союз воюет против Германии, вовсе не означает, что он защищает, борется или придерживается принципов в международных отношениях, которых придерживаемся мы».

В ходе войны Рузвельт весьма дружественно высказывался о Советском Союзе, лично о Сталине. Но тут, думаю мне, он лишь отдавал дань союзническим отношениям в рамках антигитлеровской коалиции, героизму Красной Армии, устоявшей под чудовищными ударами гитлеровской военной машины. В то же время президент делал соответствующие выводы из хода боев на советско-германском фронте. Советский народ, продолжая оказывать сопротивление агрессии, доказывал, как полагал Рузвельт, прочность системы. Если она выдержит и сохранится после войны, то не имеет смысла снова пытаться ее уничтожить. Лучше выработать механизм, который позволил бы капиталистическим странам сосуществовать с Советским Союзом. Все это, повторюсь, отнюдь не означало одобрения Рузвельтом советской действительности.

Думаю, Сталин знал и понимал реальное положение дел. Установление Рузвельтом дипломатических отношений с СССР после 16 лет непризнания, его заявление о

намерении оказать поддержку борьбе советского народа против нацистской агрессии, готовность президента организовать поставку военных материалов Советскому Союзу — все это можно было записать в актив Рузвельтовской администрации. Однако в практике антигитлеровской коалиции было немало фактов, усиливавших подозрительность Сталина по отношению к США. Да и вообще глубоко укоренившаяся в его сознании враждебность к капиталистической системе постоянно подпитывала настороженность.

Мне нередко приходилось слышать, как Сталин по разным поводам говорил Молотову:

— Рузвельт ссылается на конгресс. Думает, что я поверю, будто он действительно его боится и потому не может уступить нам. Просто он сам не хочет, а прикрывается конгрессом. Чепуха! Он — военный лидер, верховный главнокомандующий. Кто посмеет ему возразить? Ему удобно спрятаться за парламент. Но меня-то он не проведет...

Сталин также не верил, когда на его жалобы по поводу недружественных публикаций по отношению к СССР в американской и английской прессе Рузвельт и Черчилль объясняли, что не могут контролировать газеты и журналы и что даже их самих пресса порой не жалуется. Все это Сталин считал буржуазной уловкой, двойной игрой. Тем более что видел: советская сторона оказалась в невыгодном положении. Когда в нашей печати появлялись первые робкие критические замечания насчет политики западных союзников (задержка второго фронта, срыв графика военных поставок, слухи о сепаратных переговорах и т. д.), Рузвельт и Черчилль протестовали. Свои претензии они объясняли ссылками на официальный характер советской прессы.

Чтобы сбалансировать положение, Сталин решил создать в 1943 году журнал «Война и рабочий класс», изобразив дело так, будто его издают советские профсоюзы. Фактически же редактором этого двухнедельника был Молотов, хотя на титульном листе стояло имя фиктивного редактора — какого-то профсоюзного деятеля. Молотов поручил мне техническую сторону подготовки заседаний редколлегии журнала, и я мог видеть, как тщательно не только он, а порой и Сталин дозировали критические статьи. Но теперь на жалобы руководителей США и Англии можно было ответить, что Советское правительство не несет ответственности за эти материалы и что все претензии следует адресовать профсоюзам. Сталин был уверен, что точно так же манипулируют прессой Рузвельт и Черчилль.

Еще в середине 30-х годов Сталин стремился установить контакт с Рузвельтом. Об одном из связанных с этим эпизодов рассказал мне А. И. Микоян.

Дело происходило летом 1935 года на даче у Молотова незадолго до отъезда Микояна в США для закупки какого-то оборудования. На даче оказался американский гражданин по имени Кон — родственник жены Молотова. Вскоре появился Сталин. После ужина он вышел с Микояном в сад и сказал:

— Этот Кон — капиталист. Когда будешь в Америке, повстречайся с ним. Он нам поможет завязать политический диалог с Рузвельтом.

Прибыв в Вашингтон, Микоян установил, что «капиталист» Кон владеет шестью бензоколонками и, конечно же, никакого доступа в Белый дом не имеет. Нечего было и думать о посредничестве Кона. Между тем во время встречи с Генри Фордом последний по своей инициативе предложил Микояну познакомить его с Рузвельтом. Тогдашний советский посол в США А. Трояновский сразу же проинформировал об этом Москву. Ответа не поступило, и Микоян с Рузвельтом не встретился. Я недоумевал, почему он так поступил, ведь Сталин добивался диалога с Рузвельтом.

— Вы плохо знаете Сталина, — пояснил Микоян. — Ведь он поручил действовать через Кона. Если бы я без его санкции воспользовался услугами Форда, он бы сказал: «Вот там Микоян хочет быть умнее нас, пустился в большую политику». Он никогда бы мне не простил. Обязательно когда-либо вспомнил бы и использовал против меня».

Этот эпизод свидетельствует о ловкости хитрого армянина, подтверждая ходившую по Москве поговорку: «От Ильича до Ильича без инфаркта и паралича», относившуюся к

Микояну. Он уцелел в бурный период — от Владимира Ильича Ленина до Леонида Ильича Брежнева. Но самое любопытное здесь то, насколько примитивное представление имел Сталин об американских порядках. Он считал, что раз Кон капиталист, то, значит, и запросто вхож к президенту.

С этим же своеобразным представлением о США связано и сделанное Сталиным Гопкинсу, а затем и Гарриману, еще до вступления Америки в войну, предложение дослать на Украину американские войска для ведения боевых операций на советско-германском фронте. Естественно, он получил отказ, но что поразительно — очень на это обиделся.

Впрочем, не менее странной была и последовавшая за этим инициатива Рузвельта. 1 января 1942 года, то есть уже после Пирл-Харбора, он в беседе с только что прибывшим в Вашингтон новым советским послом Литвиновым высказал суждение, что американские войска могли бы заменить советские части, находящиеся в Иране, в Закавказье и в районе заполярного порта Мурманска, а советские солдаты могли бы быть переброшены для действий на активных участках фронта. Свое предложение президент сопроводил своеобразной приманкой:

— С американской стороны, — сказал он советскому послу, — не встретило бы возражений приобретение Советским Союзом незамерзающего порта на Севере, где-нибудь в Норвегии, вроде Нарвика.

Для связи с ним, пояснил Рузвельт, можно было бы выкроить коридор через норвежскую и финскую территории.

С точки зрения современной морали подобное предложение, сделанное к тому же без ведома норвежцев и финнов, выглядит по меньшей мере цинично. К тому же тогда Нарвик, как и вся Норвегия, находились под германской оккупацией.

Советское правительство отклонило американское предложение. В телеграмме Молотова, направленной 18 января, советскому послу поручалось ответить Рузвельту, что у Советского Союза «нет и не было каких-либо территориальных или других претензий к Норвегии и поэтому он не может принять предложение о занятии Нарвика советскими войсками». Что касается замены советских частей американскими на Кавказе и в Мурманске, то это «не имеет сейчас практического значения, поскольку там нет боевых действий». Далее в послании говорилось: «Мы с удовлетворением приняли бы помощь Рузвельта американскими войсками, которые имели бы целью сражаться бок о бок с нашими войсками против войск Гитлера и его союзников».

Но для этого у США войск не нашлось.

Вся эта история вызвала в Москве неприятный осадок и породила новые подозрения у Сталина. Он расценил предложение Рузвельта как посягательство на территориальную целостность СССР. Он еще хорошо помнил об интервенции против Советской России после революции, когда американские войска оккупировали ряд районов нашей страны. В то же время тут просматривалось стремление Вашингтона сбросить силы за счет крови советского союзника, добиться ослабления двух главных участников конфликта — Германии и СССР.

Хочу остановиться на нескольких узловых проблемах, которые в той или иной мере оказали влияние на взаимоотношения Сталина и Рузвельта.

Хотя наши западные союзники не откликались на многократные призывы Москвы осуществить высадку во Франции, изучение в Вашингтоне возможности такой операции началось уже с осени 1941 года. К весне следующего года вариант американского плана вторжения в Северную Францию был подготовлен. Докладывая его президенту Рузвельту, генерал Маршалл указывал, что высадка в этом районе явится максимальной поддержкой русского фронта. Однако осуществление операции ставилось в зависимость от двух условий:

1. Если положение на русском фронте станет отчаянным, то есть успех германского оружия будет настолько полным, что создастся угроза неминуемого краха русского

сопротивления. В этом случае атаку на Западе следует рассматривать как жертву во имя общего дела.

2. Если положение немцев станет критическим.

Этот документ проливает свет на американскую концепцию второго фронта: пока Россия и Германия сохраняли способность продолжать борьбу, в Вашингтоне предпочитали оставаться в стороне, не неся больших человеческих жертв. Главное, чтобы к концу войны СССР и Германия оказались ослабленными.

К началу 1942 года гитлеровцы мобилизовали огромные силы для нового мощного наступления в глубь Советского Союза. А наши западные союзники по-прежнему ничего не предпринимали, чтобы облегчить положение на советско-германском фронте. Наблюдая их бездействие, посол Литвинов направил в наркоминдел 31 января 1942 года запрос: «До вероятного весеннего наступления Гитлера, для которого он накапливает большие силы, остается меньше двух месяцев, и если желаем получить помощь к тому времени от Англии и США, то должны заявить об этом теперь же. Мы должны либо требовать высадки на континенте, либо же заявить, что нам нужно столько же самолетов и танков, на сколько превосходит нас в тех и других противник».

4 февраля Литвинову был дан следующий ответ: «Мы приветствовали бы создание второго фронта в Европе нашими союзниками. Но Вы знаете, что мы уже трижды получили отказ на наше предложение о создании второго фронта и не хотим нарываться на четвертый отказ. Поэтому вы не должны ставить вопрос о втором фронте перед Рузвельтом. Подождем момента, когда, Может быть, сами союзники поставят этот вопрос перед нами». В не совсем дипломатичных оборотах этого послания сквозит раздражение его авторов. Сталин давал почувствовать свое недовольство.

Повлияло ли это на Рузвельта? Возможно, что в какой-то мере повлияло. Во всяком случае вскоре в позиции американцев как будто произошел сдвиг. 12 апреля 1942 года президент Рузвельт сообщил главе Советского правительства, что считает целесообразным обменяться мнениями с авторитетным представителем СССР по ряду важных вопросов ведения войны против общего врага. Он спрашивал, готово ли Советское правительство направить в Вашингтон Молотова для таких переговоров. Советская сторона сразу же согласилась. С целью соблюдения секретности этот визит прошел под кодовым названием «миссия мистера Брауна».

Побывав в Лондоне, где был подписан англо-советский договор о союзе в войне против гитлеровской Германии и ее союзников в Европе и о сотрудничестве и взаимной помощи после войны, Молотов отправился в Вашингтон. Здесь в беседе с президентом Рузвельтом речь шла главным образом о планах высадки западных союзников во Франции и о положении на советско-германском фронте.

— Если бы, — сказал Молотов, — союзники оттянули в 1942 году с нашего фронта хотя бы 40 вражеских дивизий, соотношение сил резко изменилось бы в нашу сторону, и судьба Гитлера была бы предрешена...

Выслушав это заявление, сделанное Молотовым с несвойственной ему эмоциональностью, Рузвельт обратился к генералу Маршаллу с вопросом:

— Достаточно ли уже продвинулись приготовления, чтобы можно было сообщить маршалу Сталину о нашей готовности открыть второй фронт?

Генерал ответил утвердительно. И тогда президент торжественно произнес:

— Доложите своему правительству, что оно может ожидать открытия второго фронта в нынешнем году.

Итак, президент, к которому присоединился также Черчилль, официально обязался осуществить высадку. Более того, был определен и конкретный срок. Совместное коммюнике гласило: «Достигнута полная договоренность в отношении неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году».

Действительно ли в Вашингтоне и Лондоне на том этапе намечали высадку в Западной Европе? Было ли такое решение просчетом или просто легкомыслием, что,

впрочем, одинаково недопустимо для зрелых политиков? Вряд ли они в тот момент считали, что советская способность к сопротивлению на исходе и что настало время принести «жертву». А если считали, то очень скоро пришли к выводу, что с «жертвоприношением» спешить не следует.

Когда спустя некоторое время Рузвельт и Черчилль отказались от данного Сталину обещания, президент испытывал чувство неловкости. Ведь в беседе с Молотовым в Вашингтоне он обосновал резкое сокращение крайне необходимых Советскому Союзу военных поставок переадресовкой их на нужды готовящегося вторжения во Францию. А на вопрос Молотова, не получится ли так, что поставки сократятся, а второй фронт открыт не будет, Рузвельт еще раз заверил наркома, что высадка во Франции в 1942 году обязательно произойдет. Надо полагать, президент США вздохнул с облегчением, когда Черчилль вызвался выполнить в Москве столь неприятную миссию — сообщить Сталину, что вторжение не состоится.

В связи со всей этой историей стоит вспомнить пассаж, содержащийся в книге сына президента — Эллиота — «Его глазами». Он иллюстрирует понимание Рузвельтом роли США в войне.

«Ты представь себе, — пояснял отец сыну, — что это футбольный матч. А мы, скажем, резервные игроки, сидящие на скамье. В данный момент основные игроки — это русские, китайцы и в меньшей степени англичане. Нам предназначена роль игроков, которые вступят в игру в решающий момент... Я думаю, что момент будет выбран правильно».

Рузвельт поделился с сыном весьма сокровенными мыслями.

Принятые Тегеранской конференцией решения на этот счет в нашей литературе обычно расцениваются как серьезная победа советской дипломатии. И в самом деле, наконец-то западные союзники назвали точную дату вторжения и в общем выдержали ее. Пришла реальная помощь Красной Армии, сражавшейся на протяжении трех лет практически один на один с гитлеровской военной машиной. Но, спрашивается, действительно ли США и Англия, соглашаясь открыть второй фронт во Франции, уступили настойчивым требованиям Сталина, угрожавшего даже покинуть Тегеран? Или же они прежде всего руководствовались собственными интересами? Не сочли ли, что приближается ситуация, предусмотренная вторым пунктом американского плана, — скорый крах Германии?

Ко времени Тегеранской конференции решение уже было принято. Пересекая на крейсере Атлантический океан по пути в иранскую столицу, президент Рузвельт созвал в кают-компании ближайших помощников и поделился своими соображениями насчет второго фронта. «Советские войска, — сказал он, — находятся лишь в 60 милях от польской границы и в 40 милях от Бессарабии. Если они форсируют реку Буг, что может осуществиться в ближайшие, две недели, Красная Армия окажется на пороге Румынии». Президент сделал вывод: пора действовать. «Американцы и англичане, — пояснил он, — должны занять возможно большую часть Европы. Англичанам отводится Франция, Бельгия, Люксембург, а также южная часть Германии. Соединенные Штаты должны двинуть свои корабли и доставить американские войска в порты Бремен и Гамбург, в Норвегию и Данию. Мы должны дойти до Берлина. Тогда пусть Советы занимают территорию к востоку от него. Но Берлин следует занять Соединенным Штатам». Примерно в это же время Рузвельт распорядился подготовить специальные авиадесантные соединения для захвата столицы третьего рейха.

Рузвельт и Черчилль были едины в том, что дальше откладывать вторжение нельзя, иначе советские войска могли продвинуться слишком далеко на Запад. Но дело не обошлось без серьезных расхождений. Как достичь поставленной цели? Президент полагал, что кратчайший путь в Берлин лежит через Францию. Он настаивал на высадке в Нормандии. Британский премьер исходил из других соображений. Он стремился не допустить значительного продвижения советских войск за пределы, границ СССР.

Наиболее эффективный, по его мнению, способ добиться этого — наступать через Балканы в направлении Болгарии, Румынии, Австрии, — Венгрии, Чехословакии.

Что касается Сталина, то он, разгадав замыслы Черчилля, заявлял, что наиболее радикальной помощью Красной Армии считает открытие второго фронта в Западной Европе.

Исходя из сказанного, мне представляется, что главное в решении Тегеранской конференции о втором фронте заключалось не в согласовании даты вторжения, а в определении места высадки. То, что в конечном счете остановились на Нормандии — результат идентичности позиций Рузвельта и Сталина, и это было высоко оценено советским лидером.

Источник: «Родина», 1992, № 11–12. В воспоминаниях В. Бережкова в отличие от его «доперестроечных» мемуаров ощутимо присутствие «демократических» штампов в освещении сталинской темы. (Ред.)